

*Немалый отрезок жизни провёл я рядом с газетой. Были годы, когда что-то писал как внештатник, были годы, когда участвовал в процессе, так сказать, изнутри. Осваивал это ремесло. И даже стал победителем журналистского конкурса «Акулы пера-2007» в номинации «Публицист года» за статьи, написанные для городских газет.*

В последние школьные годы я общался со старшими братьями моего одноклассника Володи Цехановского. В общежитии политехников услышал Окуджаву. И тоже захотел стать студентом. Но эти ребята занимались физикой, электроникой, что никак не совпадало с моими умственными возможностями. Кто-то из старших, знакомый с моими сочинениями, сказал, что есть институт, где учат, как писать стихи и прозу. Не хочу выглядеть умнее, чем есть, но идея *учиться на писателя* и в ту пору показалась мне дикой и несообразной. Вскоре узнал про гуманитарные факультеты, где изучают языки и литературу для будущей работы в школе, архиве, газете, библиотеке. На том и остановился.

Я поступил на историко-филологический факультет Томского университета. Два курса проучился, наслаждаясь книгами в научке (Научной библиотеке), стихами, друзьями, влюблённостями. Потом меня отчислили из университета за недоносительство на товарища, создателя рукописного журнала. Я поехал в глубинку, в школу-восьмилетку.

Был восстановлен на факультете, окончил вуз и по распределению опять отправился в деревенскую школу, теперь уже среднюю. Об учительстве – отдельная глава. Мне нравилось работать в школе, но вот беда: резко сдали глаза (десятки тетрадей ежедневно), врачи настояли, чтобы я профессию сменил.

Приехал в Томск и стал сотрудником многотиражки пединститута, не имея к этому делу какого-то особого расположения. Однако понемногу втянулся, сотрудничал с молодёжной газетой, делал статейки на культурные темы. Не всегда получалось писать то, что хочешь. Вот появился в Томске Андрей Кончаловский, продвинулся в район слияния Томи с Обью – там шли натурные съёмки «Сибириады». Я сказал о желании сделать репортаж. Люся Сердюк, заведовавшая отделом культуры, поддержала, но просила позвонить одному чиновнику из обкома, он должен был с режиссёром увязаться и дать добро. Я позвонил. Помню даже фамилию: Костюкович. Ответил противный скрипучий голос. Я изложил дело. В ответ раздалось: «Мэ, мэ», я услышал, как он жуёт губами. Наконец последовали слова: «Думаю, лучше ничего не писать. Точнее, не надо ничего писать». «Почему?» – «Это разговор не телефонный, но, полагаю, писать о нём не надо». Доложил Люсе, та законопослушно всё отменила. Ехать наудачу я не решился: ни точного места, ни транспорта. Вскоре Кончаловский свалил на

долгие годы за рубежом. Значит, они – эти функционеры – знали немного больше, узнавали чуть раньше.

После моего отчисления из университета прошло уже немало лет. И вот однажды меня чуть не взяли на работу в этот самый «Молодой ленинец». На третий день моей службы редактор сказала, что со мной хотят побеседовать в обкоме комсомола. Сели с двух сторон комсомольские лидеры Шувариков и Точенов и после дежурных вопросов перешли к позорному факту биографии:

– Ну а произойди такое сейчас, как бы вы себя повели?

– Пожалуй, так же, – честно ответил я.

Идеологи оторопели:

– Представьте: человек в беде, просит помощи, вы оказались рядом. Неужели не поможете?

– Почему же, – сказал я, – помогу. Но это другой случай. Ваш пример неудачен.

Меня отпустили с миром. Я понимал, каких ответов от меня ждали. И свидетелей не было. Но подумал, что всю жизнь будет мне стыдно, если сейчас сокру. Наутро редактор печально сказала, что, видимо, не смог я себя повести как надо и в результате – не рекомендован.

А вот районка меня приютила. Она называлась «Правда Ильича», подразумеваемая, конечно, ласково величаемого основателя советского государства. Но в те годы, когда в ней трудился я – 70-е и начало 80-х –, такое же отчество носил тогдашний Генеральный секретарь партии Леонид Брежнев. И второе: хоть она и была газетой Томского сельского района, но располагалась в городе, более того, в самом его сердце, на проспекте Ленина. Впрочем, поначалу мы сидели на проспекте Фрунзе (тоже не окраина).

У газеты есть одно несомненное достоинство – она сводит тебя с разными интересными людьми. Это не относилось к редактору и его заместителю – заведующему отделом партийной жизни. Первый вычитывал номер и планировал следующие, а второй перекладывал на общепонятный язык райкомовские решения и постановления. Мне выпало работать в отделе писем, и эта ниша меня вполне устраивала. Можно было реально помогать людям. Помню, в Малиновке я защитил работника клуба от председателя сельсовета, которому тот не нравился своей непохожестью на других людей, не умел, видите ли, найти общий язык с начальством. Помню, поехал сделать зарисовку о хорошем совхозном бригадире, и мы с ним после завершения его трудового дня выпили так крепко, что я остался у него на ночлег.

Попутно вёл литературную страницу, печатал рассказы и стихи людей разного рода занятий и возраста.

Учителя, библиотекари, жители разных сёл делились радостями и печальями. Я писал о них, там были судьбы с такими поворотами, что не всё шло в очерки, пригодилось вот сейчас при моих попытках прозы. Я был на хорошем счету, меня охотно брали в рейды милиции и народного контроля.

Однако – было дело – я мог крепко подмочить эту репутацию. Мы переезжали прямо в центр города, на проспект Ленина в помещение, которое нынче отдано факультету журналистики. Таскали в грузовик столы, стулья. И вот, очередной раз пробегая по коридору, я заметил в одном комсомольском кабинете у двери три крепких красивых стула с широкими сиденьями и прямой спинкой. Недолго думая, прихватил один с собою. При разгрузке я уже опекал его как родного, упрятал в тёмный угол и при первой возможности переправил домой. За столько лет ничего с ним не сделалось – надёжен и крепок. Он получил имя «Партийный стул», так его знают посвящённые в эту историю гости.

В милицейских рейдах я знакомился с хорошими ребятами, писал о них зарисовки и даже очерки. Хорошо помнится одна встреча. Однажды утром редактор мне говорит:

– Звонил начальник РОВД Богомаз. Отправляйся к ним. Найди следователя Белецкого, он на днях матерого преступника взял. Поговори и напиши.

Белецкий оказался красивым парнем вполне спортивного покроя. Вскоре перешли на «ты». Прошу его рассказать об этом героическом задержании. Преступник, совершив вооруженное ограбление, оторвался от милиции, укрылся в домике на мичуринском. Предлагают выходить сдаваться. Кроет всех, угрожает. Довели до того, что выпалил один раз в окно. Окружили домик. Что дальше?

Белецкий рассказывал:

– Я говорю другу-менту: «Давай к дверям, стучи, ломись, не бойся, стрелять не будет. А я что-нибудь придумаю». Ну друг забарабанил, тот метнулся к двери, кричит что-то типа «Уйди, застрелю». Я в окно впрыгнул, благо, открыто настежь, он только повернулся ко мне, я у него обрез выбил, на пол мужика бросил, довольно легко его поломал, зову товарищей. Взяли, увезли.

– Как ты решился в окно, он же мог подстрелить?

– Разозлился сильно. Думаю, сколько нам здесь торчать? Сколько эта сволочь нервы мотать будет? Вот так со злобы и прыгнул.

– Значит, так в засаде завёлся?

– Да нет, скажу я тебе – раньше. Ехал уже весь на взводе. Ну представь. Вечер свободный, пришла ко мне подруга, послушали музыку, вино пили хорошее. Прилегли с ней. Только пристроился – звонок! Беру трубу: на выезд! Как раз брать эту скотину. Так что меня тогда уже и заколотило. Уже готов был.

Я написал про Белецкого. Главный мотив его решительного поступка в материал не попал.

Однажды появился в дверях редакции парень – суховатый, подтянутый. Подсел к соседнему столу.

– Я, – говорит, – купаюсь среди льдин, могу ремни рвать напряжением воли...

– Мне это как-то неинтересно, – отвечает ему мой коллега, пухлый флегматик, неутомимый курильщик. На кой ему эти противоестественности. Его поле – партийные собрания да профсоюзные конференции. Позвала его секретарь Лена к редактору. Он встал и медленно покатился – Колобок у него и прозвище

было в редакции. И стул его освобождённо захрустел деревянными суставами.

Зимний пловец – тоже в дверь и дальше по коридору. Догнал я его у самого выхода.

– Послушай, – говорю, – хочу посмотреть на твои фокусы.

Он обиделся.

– Это, – говорит, – не фокусы. Это умение властвовать собой.

– Ну пусть так, – соглашаюсь. – Где можно увидеть твоё умение?

Приехал к нему на электричке за свои кровные копейки. Редактор явил полную солидарность с курильщиком. А меня что-то повлекло, «позвало в дорогу» на языке газеты. Парень по имени Валера встретил сердечно, показал свои достижения. Мне понравилось, что он сам себе изумлялся: и когда на битом стекле лежал, и когда по горячим углям ходил. Работал он механиком на большой радиорелейной станции. Через неё шла трансляция из столицы на нашу область. Стал я бывать у него. Вполне дружескими отношения наши сделались. И дружба эта сохранилась на всю оставшуюся жизнь. Валера Люберцев достоин отдельного рассказа, и я постарался это сделать. Не нужно было это нашей районке, но большой материал напечатал я спустя годы в областной молодёжке.

Тут начинается тема разлада между действительностью и некими установками, которые сформировались у молодого человека (то есть меня). Они мешали мне жить в согласии с тем, что я вроде сам для себя избрал – с этой самой работой в газете.

Мой отец – коммунист фронтового призыва – настойчиво советовал пробиться в ряды партии, справедливо полагая, что это нужно «для роста». Объясняться с ним было трудно, у меня не было чёткой антипартийной программы, просто был стойкий внутренний отврат, неприятие клановости, единомыслия, пресловутой партийной дисциплины (впрочем, вообще всякой). К тому же некоторых функционеров я видел живьём.

Несколько позже я понял закономерность выплеска туда, наверх, мерзкой накипи. Это был естественный внутривнутрипартийный отбор. Это была отрицательная селекция в чистом виде. Чтобы подняться, надо было освободиться от балласта, от каких-то человеческих проявлений, качеств. Но оттуда, сверху, они брались судить, что можно и что нельзя. И были эти натурально убогие люди воинствующими, они не сомневались в своём праве учить, унижать, не пущать.

Я и комсомол прокинул не из пижонства, а поняв, что мне это просто не нужно. То есть, как недавно говорили, хотел пройти обочиной жизни. Позиция эта не устраивала регуляторов дорожного движения, они подталкивали к массе, убеждали идти в строю. И всё-таки я сформировался в созерцании и одиночестве. Я полюбил джаз – музыку без правил, и здесь тоже предпочитал солистов, а биг-бэнды (большие оркестры) особенно любимыми не стали.

В мире стадности одиночка очень уязвим. Тебе навязывают свою меру всех вещей, цепляются за тебя мёртвой хваткой, говоря: «Не рыпайся!». Всё неведомое и не совсем понятное объявляется ненужным и опасным. Но я никогда не

хотел раствориться в какой-нибудь коллективной глупости и, кажется, не тяготился своей отъединённостью.

Случались некоторые казусы. Ну вот, как тут не сказать о моих отношениях с ответсекретарем нашей районки Геной Плющенко. Я успел узнать его ещё во времена университетского литобъединения. Красавец, живые глаза блестят, голос поставлен – свои стихи, крепкие и немного вычурные, читал прекрасно. Я тогда был первокурсник, он – выпускник. И вот встретились в газете. Вдруг я увидел, что мои свободные суждения, шутки в адрес наших лидеров областного и союзного масштаба не вызывают ответной адекватной реакции. Более того, поймал как-то его неприязненный взгляд и осекся, перестал общаться в духе общежитьевской вольницы. А тут встретился на улице его сокурсник Саша Казаркин (нынешний университетский профессор) и в ответ на мои непонятки сказал: «Чего ты удивляешься? Он же охранитель». Это ёмкое словцо всё объясняло. Но, кстати, это не мешало им общаться и, приняв алкоголь, замечательно петь на два голоса, как в студенческую пору.

Да и мы вполне ладили. Я, пожалуй, не припомню другой такой же мощной концентрации в одной газете людей, всерьёз сочиняющих стихи: Геннадий Плющенко, Борис Овценов, Анатолий Перервенко и я. Бывало, после рабочего дня оставались вчетвером, пили портвейн. Пели бардовские песни. Борис пел свои, знаменитые на весь город и даже шире: «Томск-один», «Чёрную лестницу».

Толя мимоходом зарифмовывал некоторые темы дня. Вот Борис рассказал, как директор совхоза обиделся, что ему несправедливо попеняли в райкоме: мало думает о своих передовиках, и Толя тотчас отреагировал (от лица директора):

*Мне говорят: нет заботы о животноводах.*

*А Марья Иванна как раз греет живот на водах.*

Или в преддверии советских праздников, когда нам устраивали этикие производственные наборы, произносил задумчиво:

*Когда же, наконец, местком*

*Нас всех побалует мяском?*

Однажды он стал читать вслух мою интервьюшку с механизатором Пильщиковым, обыгрывая рефрен: «Корр. – Пильщиков» и симпровизировал в конце: «Бурный финал: хор пильщиков!». Больше всего я и помню не планёрки-летучки, а такие разгрузочные минуты, когда на столе во время закипания опасно раскачивалась высокая кофеварка. Но заваривали не кофе, а появившиеся тогда пакетики чая.

В ближних от города сёлах – Нелюбино и Рыбалово – директорами совхозов были интересные люди: Виктор Кресс и Алексей Масалькин. Они как будто даже по-хорошему соперничали. Я любил с ними общаться, хотя по диспозиции они ближе были Борису – он заведовал сельхозотделом. Масалькин получал прогнозы погоды с метеостанции в Темиртау (это предгорье Алтая, Горная Шория). Там работал Анатолий Витальевич Дьяков, легендарная личность, его называли Бог Погоды. Масалькин на все сто доверял предсказаниям Дьякова,

тут он был не одинок – и европейские лидеры прислушивались после того, как он предупредил о заморозках во Франции. Потому наш директор совхоза игнорировал установки обкома партии, где в императивной форме определялись сроки посевной. Он рисковал, конечно, своей должностью, но всегда оказывался прав. Мне нравилась эта его непоказная самостоятельность.

Отчего же не вспомнить и отрадные моменты сотрудничества с молодёжной газетой. Положение внештатника молодёжки позволяло мне выбирать темы для публикаций. Это были художественные выставки, сами молодые художники, выход на экран интересного фильма, даже юбилеи достойных людей.

К столетию со дня рождения великого американца Роберта Фроста я написал материал строк на 200, и он прошёл в молодёжке. Название мне никак не давалось, и вот тогда я узнал Валеру Сердюка как мастера заголовков. Пробежал он мои заметки с поэтическими цитатами. Была и такая:

*Я видел нашу певческую мощь,  
Что, ковыляя мимо белых рош,  
Была готова, взмыв под облака,  
Воспеть весь мир от корня до цветка.*

И Валера с лёгким торжеством (учись, сынок!) поставил последнюю строку в заглавие. По-моему, очень удачно и точно. Правда, на их планёрке куратор из обкома комсомола ему выговорил. Что называется, мягко попенял: какой-такой Фрост? с чего это вдруг? тоже нашли фигуру...

Написал о большой выставке Николая Рериха и снова маялся с заголовком. В тексте я привёл строки Пастернака, которые припомнились мне на выставке как вполне приложимые к горным пейзажам: «Привлечь к себе любовь пространства, / Услышать будущего зов». Внимательный Сердюк взял первую из приводимых строк, и я опять подивился: всё точно, ведь об этом я и писал, привлекая Пастернака в союзники.

Еще одной строкой Бориса Леонидовича «Не отступаться от лица» я уже сам (уроки Валеры!) назвал свою статью о Юрии Трифонове. Молодёжная газета печатала тогда работы под шапкой «Расскажу о любимом писателе». Я отдал листочки молодому корреспонденту, отвечающему за рубрику. Он прочитал, вдруг забурчал, заводил руками по столу, поднял на меня насмешливые глаза, заговорил этак издевательски: «Ну, конечно, Трифонов. Ещё бы не Трифонов. У всех прямо любимый Трифонов». Я его не понял. Спросил: «Забрать?». «Да нет, что вы. Совсем не плохо. Я поставлю». И всё-таки не удержался: «И давно любимый?». «Давно», – сказал я. И уже выходя, догадался, понял его реакцию: он просто ревновал меня к писателю. И до, и после встречал я подобных людей, им так не хотелось с кем-нибудь поделиться своим открытием в литературе, живописи, музыке. Сохранить это каким-то эксклюзивом. Слава богу, вокруг меня были совсем другие ребята, и мы друг друга с удовольствием приобщали к тому, что удавалось увидеть, прочесть, услышать. Мне, например, очень нравилось умножать число поклонников Окуджавы.

Мы уже были знакомы с директором Дворца зрелищ и спорта Моисеем Мироновичем Мучником, человеком незабываемого обаяния. Как сотрудник газеты я проходил на концерты, знакомился и беседовал с замечательными артистами. Эдита Пьеха, Жанна Бичевская, группы «Поющие гитары», «Ялла», «Апельсин». Мне довелось общаться с Маргаритой Тереховой, Евгенией Симоновой, Александром Кайдановским. Впрочем, наше общение с Кайдановским было своеобразным. Тогда он еще не сыграл Сталкера, и я разговаривал с его женой Евгенией Симоновой о ролях в последних фильмах. Только я называл фильм, режиссера, Александр, стоявший рядом, немедленно парировал: «Говно фильм! Режиссер – говно!».

Был я на премьерных показах фильмов Никиты Михалкова и Андрея Тарковского. Уже в постсоветскую пору по просьбе редакций встречался с Евгением Клячкиным, Еленой Камбуровой, Игорем Губерманом.

Освещал и проходившую в Томске IV зональную художественную выставку «Сибирь социалистическая» (1975 год). Забавным образом попал на фотографию в журнале «Художник», там в кадре – первый секретарь обкома Е.К.Лигачёв среди посетителей выставки (я – один из посетителей).

Как-то зашел в молодёжную редакцию. В секретариате увидел недавно прибывшего в наш город новоиспечённого журналиста. Потрясая газетой «Неделя», он кричал: «И когда за этого Сахарова возьмутся?! Он же наглет, он думает, что управы на него нет!». Я с пониманием засмеялся. Только так – пониманием – мы и могли реагировать на всякую чушь и мерзость. И вдруг понял, что кричит-то он всерьёз, в подлинном праведном гневе.

Это удручало. Конечно, непринадлежность к правящей партии позволяла мне жить в согласии с самим собой, называть вещи своими именами. Но сталкиваясь с такими проявлениями реальности, я терялся.

Нелепость моих устремлений (хотелось писать, печататься, утвердить своё имя) была в том, что, не соглашаясь жить по *их законам*, я хотел в *их системе* как-то существовать. Не лез в их монастырь со своим уставом, но пытался работать с ними. А они хорошо видели, что я – чужой. И я определённо знал, что я – не с ними.

Жизнь помогла окончательно определиться.

В районной газете получал я ставку корреспондента – это едва за сотню, мало. И тут подвернулось место ночного сторожа в цветочной теплице. А ещё один сторож щедро поставлял сюда разнообразный тамиздат – Набоков, Платонов, Солженицын, Войнович. В теплице толклось много разного народа, и скоро стало понятно, что мы под наблюдением. В конце концов чекисты разгромили наш ночной литературный клуб. Когда весной 1980-го я лишился места в районке, то не пришёл в уныние. Потому что сохранилось главное – товарищество, доверие. Как хорошо мы сидели у костра, как слушали красивый джаз. Что делать и как жить дальше, было не так уж важно. Вскоре я опять сторожил, потом калымил, сбрасывая по весне снег с крыш, потом был калым посерьёзнее – до сих пор благодарен ребятам, что взяли неумеху в свою компанию.

Однако через три года я снова связался с газетой. Но это была газета особая, это – счастливый случай в моей жизни. Я стал томским корреспондентом газеты Западно-Сибирского речного пароходства «На вахте». Был почти свободен, по крайней мере, своим рабочим временем распоряжался сам. Исключая, понятно, время отправления от речного вокзала «Метеоров» и «Ракет» на север или рейсовых автобусов от автовокзала в посёлки речников Самусь и Моряковка. Сколько новых мест я повидал, сколько интересных встреч подарила эта газета. И провёл я с ней (невероятно для меня, летуна) целых шесть лет! Эпизоды этой работы даже в стихи попали. Некоторые строки вполне ничего:

*Возьмёт автобус на углу,  
А там, по холодку,  
К реке, закутанной во мглу,  
В осеннюю тоску.*

*В плену тумана и тоски  
Сидят крановщики.*

*Смолят «Дымок» и «Беломор».  
Плывёт ленивый дым,  
Как их ленивый разговор  
Про деньги и труды.*

*Я тоже не упал с Луны,  
И деньги мне нужны.*

.....  
*Но как-то мелко, мужики,  
Базарить про дела,  
Когда надвинулась с реки  
Величественно мгла,*

*Как в дни творения, когда  
Делились твердь, вода.*

*Сейчас бы говорить о том,  
Зачем нам жизнь дана,  
Чтоб из тумана встал Платон  
С бутылкою вина.*

*И – к нам: «Позвольте, посижу,  
Послушаю, скажу».*  
1983

*...Закатом поражённая вода  
Расстелется как золотое пламя  
Над бездною, простёртою под нами...  
Но до тебя уже – рекой подать.*



И конечно, благодарно вспоминаю редактора Валентину Лесникову и сотрудников: Витю Русских, Сашу Самосюка, Славу Досычева, Амира Нагуманова. Помню, как Витька впервые приехал в Томск, и мы с моим товарищем Виктором Свиным неторопливо прошли от речного вокзала до Лагерного сада, рассказывая ему о домах, людях, событиях. Витя был пленён городом. И я так гордился, как будто имел отношение к тому, что возникало на нашем пути: Дом офицеров, Университетская роща, величественный главный корпус ТПУ, наконец, широкий вид на окрестные поля и сияющую в закатном свете Томь.

В те годы мне нередко снилась вода наших рек Томи и Оби – настолько много её было в жизни. Над ней летели «Ракеты», она струилась под днищем катера, она неторопливо шла, обнимая баржи-самоходки.

Кроме производственных тем позволялось писать на темы свободные. Я рассказал о Гаврииле Батенькове, кто-то из ребят – о Данииле Хармсе, кто-то сделал обзор огоньковских публикаций, это уже в пору начавшейся перестройки и гласности.

Был в этой чудесной эпопее и один печальный эпизод. В морозный зимний день я стоял на повороте с большой трассы на поселок речников Моряковка. Как нарочно: ни автобуса, ни попутки. Постепенно мороз пробрал меня до костей. И тут появились «Жигули», и водитель подобрал меня. Машина порой становилась неуправляемой, мы ударялись о снежный борт одной стороны дороги и откатывались к другой. Я чуть согрелся и мог оценивать нашу забаву, но водитель положил конец аттракциону, затормозил, увидев идущий нам навстречу грузовик. В Моряковке директор музея судоремонтного завода Вера Михайловна Ульянова налила мне большой стопарь самогона. Я как будто оклемался, даже взял интервью, уехал на вечернем автобусе домой, но наутро проснулся в сильном жару с болью в суставах. Меня отвезли в отделение Томского мединститута, и я провел там больше месяца. Бравший биопсию из мизинца руки молодой врач навсегда оставил этот палец загнутым. Выписывая меня, профессор Федор Федорович предупредил, что возможны рецидивы воспаления. Слава богу, не случилось.

Я любил бывать в другом посёлке речников – Самусе, беседовать с начальником судоремонтно-судостроительного завода и РЭБ флота (ремонтно-эксплуатационная база) Владимиром Васильевичем Амосовым. Это был, что называется, широко мыслящий хозяйственник, понимающий нужды и заботы коллектива. При нём строилось благоустроенное жильё, содержались на хорошем уровне школа и Дом культуры. И по производственным показателям завод был в первых.

Сложился у меня очерк о руководителе, тут как раз главная ведомственная газета страны «Водный транспорт» объявила конкурс, я отправил свой материал и удостоился третьей премии. После этого сидели мы в его кабинете, и Владимир Васильевич весело рассказывал: «В Москве захожу к большому начальнику, он откладывает в сторону газету и говорит мне: «Вот, изучаю заповеди Амосова» (так назывался мой очерк). Потом спросил серьёзно: «А что у

тебя с этим?» и мотнул головой на дверь. Я его понял, мне попался в коридоре далеко не последний клерк Томского райкома КПСС. Я кратко посвятил Амосова в свою «тепличную» историю. Он выслушал, кивнул головой: «Советовал присматривать за тобой. Ты, говорит, не наш человек. Ну, думаю, не ему подсказывать, кто наш, а кто не наш». Ах, дорогой Владимир Васильевич, как много тогда значили для меня эти слова.

Однажды, собрав материал в Томском речном порту, я зашёл в партком уточнить какие-то детали. Уточнил.

– А с КГБ какие-нибудь отношения у вас были? – стараясь, чтобы это выглядело между делом, спросил меня секретарь парткома. И засосало что-то внутри, заныло. Паскудное, тянущее чувство поднадзорности. Я понял, что он знает, что «отношения были» и какие именно. Я понял, что они ему меня «передали». И, должно быть, увидев, как мне всё это противно, он замял разговор. Дальнейшее общение протекало вполне нормально.

Через много лет партторг предстал в ином качестве – он был назначен директором Научной библиотеки университета, моей любимой науки. Мы встречались с Евгением Николаевичем Сынтиным по книжным делам, я приносил в библиотечный фонд свои книжки, мы вполне дружески говорили о жизни и литературе.

Одним из самых противных в моей жизни было это ощущение подконтрольности. Периодически они находили форму намекнуть: мы про тебя не забыли, и ты не забывай, что мы есть. Помним, стережём. Уже, казалось бы, гласность и перестройка объявлены с высокой трибуны. Нет, у них по-прежнему задачи те же – подозревать, проверять, бдить.

В посёлке Самусь строился по финским технологиям цех для производства современных самоходных барж, маневренных, способных ходить по малым рекам. Работами руководили молодые финны. Сдружился с одним из монтажников по имени Маркку. Он был моложе меня. Кое-как говорил по-русски. Нас сблизили битлы. Он привёз мне с родины виниловый диск «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера». Я написал о нём большой материал в молодёжку и в районную газету, протащив в заголовок неприятный каламбур «Маркку держит марку». Тут сотрудник КГБ по телефону попросил о встрече, обозначил предмет будущего разговора: финны. Я сказал ему: «Это хорошие ребята. Никаких секретов не выпытывают». Опять противно заныло внутри, но забавно, что тут же это сменилось чувством досады: сколько можно! И стал говорить я ему, позволяя лёгкую насмешливость, сам вопрошая, когда же кончится эта шпиономания. Мой собеседник был совсем молод, я понял это по интонации, по голосу, в котором не было твёрдости, – он не настаивал. «Значит, нечего нам сказать?». «Нечего». Он попрощался.

Вскоре меня пригласили стать литературным консультантом в обновлённой молодёжке и одновременно вести занятия областного литобъединения «Томь».

В 1988-м я сделал страницу творчества молодых, и тут появилась в редакции девушка, которая заявила мне, что знакома с очень необычным человеком и сочинителем. «Хотите, познакомлю? – предложила она и, вздохнув, прибавила: – Только едва ли вы его напечатаете». Мы приехали в микрорайон Каштак – унылое, продуваемое всеми ветрами место, где в однокомнатной квартирке с юной женой и малюткой-сыном проживал Максим Батурин. «Можете называть Макс», – сказал он. Так с той поры и повелось. И, кстати, для всех, кто его узнал как поэта. Стихи и вправду были необычны. Отчётливые авангардные интонации. Какое-то добродушное, милое юродство. Этакий российский битник. Но и тогда, в первую встречу, мне почувствовалась за его раскованностью ранимая душа.

Я напечатал подборку Макса в летнем выпуске литературной страницы. Она попала на глаза секретарю обкома КПСС Зоркальцеву, который сидел в субботу в своём кабинете и просматривал газеты. На селе в это время шёл сенокос, и надо же было секретарю увидеть стишок Макса, в котором говорилось, что чета Петровых, мечущих стог, не уйдёт с покоса, вынесет все трудности, потому что трудятся они на себя, для своего подворья.

В понедельник на планёрку, где, как обычно, разбирался номер, отмечались удачи и неудачи, пришла заведующая сектором печати этого обкома Александра Андреевна Липская. В общем-то мягкая женщина, выполняя пожелания патрона, держалась строго и серьёзно. Сказала знаменательные слова о том, что провинция всегда была хранительницей традиций и устоев в хорошем смысле слова. Пусть там, в столицах, шум и кипят витии, а наше дело не поддаваться на провокации. А вот субботняя подборка говорит о другом. Стишки с далеко не беззубой иронией, да ещё и снабжённые предисловием с таким утверждающим названием «Право на голос». Вот он перед нами – автор предисловия, выводящий к читателю сомнительного стихотворца. Она обратила взор на меня, сказала о том, что назначение моё литконсультантом прошло в её отсутствие (отдыхала в санатории), что на таком посту всё же должен пребывать человек с чёткой, выверенной эстетической позицией. Я понял, что моя музыка играла недолго. И вдруг коллеги-газетчики поднялись на защиту и меня, и Макса. Им, видите ли, показалась интересной такая поэзия. Им показалось возможным самим разбираться: хорошо это или плохо. Вот так Макс на волне свободы вошёл в нашу жизнь. И я, оставленный на своём месте, стал и дальше печатать Батурина и его друзей.

Весной 1989 года Костя Лебедев из томского «Мемориала» пригласил поехать в Моряковку поговорить с речниками, участниками колпашевского размыва. О чём идёт речь, станет ясно из статьи, которая приводится ниже. Поехала с нами и корреспондент «Литературной газеты». Тема была даже по тем временам острая, тем более для провинции. Но что интересно: публикация в «Литературке» не состоялась. А в нашем «Молодом ленинце» моя статья прошла. И я признателен редактору Вере Долженковой, рискнувшей это сделать. После выхода газеты был звонок «оттуда», из КГБ, – последний в моей биогра-

фии – и разговор, краткий и примирительный: дескать, указывать вам не можем, но посоветоваться-то могли бы. Вот она – эта статья.

## КАК РАЗМЫВАЛИ ПАМЯТЬ

Где-то на половине пути капитан сказал старпому: «Проверь буксирный трос, может, пригодится». И помощник подумал, что капитан знает, куда и зачем они идут. С экипажем он этим пока не поделился.

Да, капитан получил необычное задание. Такое не всякий год выпадает. В парткоме Томского речного порта с ним говорили люди из комитета госбезопасности. Важная и ответственная акция предстояла теплоходу. Строптивная Обь, уже не первый год омывающая яр у старого северного городка Колпашево нынче вообще выкинула фортель. Обвалился очередной пласт земли, и срез обрыва обнажил человеческие захоронения. Навигация только-только началась, пошла вторая декада мая 1979 года, и нужно было устранить неприглядную картину, которую люди могли наблюдать с воды.

В головах, отвечающих за безопасность государства, родилось крутое и радикальное инженерное решение: поставить кормой к яру теплоход и работой его винтов значительно ускорить разрушение берега. И, что называется, концы в воду. У капитана спросили, выполнимо ли такое и каков будет эффект. Он ответил, что теплоход достаточно мощный, две тысячи лошадиных сил, всё должно получиться. Капитан осторожно поинтересовался, что это за захоронение. Ему ответили: «Дезертиры и рецидивисты, расстрелянные в сорок третьем году».

И вот теплоход Владимира Петровича Черепанова подошёл к Колпашеву. На срезе обрыва выделялся прямоугольник братской могилы. Со стороны берега место обнесли новым глухим забором и установили дежурство.

Трос, который капитан просил в своё время проверить, зачалили на берегу за мертвяк – большое бревно, врытое в землю. В ночь с 11 на 12 мая началась работа. Дизелям дали обороты. Привередливое течение сорвало теплоход с якоря, развернуло, и в считанные минуты трос снёс забор в реку. Однако менее чем за день сооружение было восстановлено в полном объёме. Щиты подвозили разные машины, и было впечатление, что заказ расписан по организациям города. Вот тут-то речники и подумали, что задание у них и вправду нерядовое. С участием капитана, местных руководителей, представителей уже поименованного учреждения был обсуждён новый этап операции.

Выше по течению встал другой теплоход, тоже достаточно сильный, и взял на буксир ОТ – 2010. И опять вспенилась холодная обская вода. Мутные струи от винтов погнало на оттаявший нижний грунт. Прошли часы. Земля поддавалась плохо. Но экипаж продолжал работу. Снизу песка было вымыто достаточно много. Наконец берег стал рушиться. Комья мёрзлой земли падали и на палубу. В реку повалились кости. И когда они обрушились, на срезе яра на глубине метров двух появились темные прямоугольники новых ям.

Теперь там были не кости, а тела. Впрочем, телами назвать их трудно. Они

были так спрессованы общей могилой, что стали похожи на бельё, выходящее из-под валика стиральной машины. В падении от них отделялось то, что когда-то было одеждой.

– Она отлетала, как пепел, – запомнила матрос Нина Макаровна Вторушина.

Очевидцы и участники этой необычной работы говорят, что трупы были в розоватом (может быть, от взаимно пропитавшей их крови) нижнем белье.

Один из чекистов сказал: «Будем работать дальше». «Маленькое санитарное мероприятие» (такой термин был предложен) принимало серьёзные масштабы. Черепанову сказали, что теплоход его в аренде у горисполкома и что расходы будут оплачены.

Вниманием экипаж обойдён не был. Кураторы справились: как у повара в смысле запасов, есть ли мясо? Назавтра мяса подкинули, люди питались хорошо. Лишним запретили торчать на палубе. Да и то правда, если твоё место в машинном отделении, тут и делать нечего. Но те, кому по долгу службы пришлось быть наверху, запомнили жутковатую картину. Отваливаясь вместе с кусками мёрзлого грунта, трупы ломались пополам, и из стен обрыва торчали руки и ноги.

Станислав Николаевич Копейкин, старпом, запомнил падавшие иногда вниз пустые бутылки. Откуда они? То ли палачи выпивали после расправы, то ли что-то другое. Одним запомнился очень сильный тлетворный дух, другие говорят, что запах относил ветром, и он мешал не очень.

А берег обнажал новые ямы, и падали то кости, то расплющенные, высохшие, выжатые оболочки человеческих тел и становились мёртвыми без погребения, и обская вода не обмывала покойников. Нечего было обмывать. Останки либо шли на дно, либо изрубались винтами теплохода, либо плыли по течению. Люди помнят мужчину лицом вниз с распластанными над головой руками.

Организовали службу ловцов ниже по течению, уже в районе пассажирской пристани. Они должны были вытаскивать тех, кого не размолотило винтами, и, видимо, предавать земле. Однако происходила «утечка информации», и позже рыбаки видели в тальниках клочья того, что некогда было человеком.

На теплоходе, конечно, теперь уже не очень верили, что это дезертиры из сорок третьего года. Что-то слишком их много в одном месте, будто со всей Сибири свезли. Однако никто и не требовал, чтобы эта версия была принята на веру. Просто: вы спросили, мы – ответили. Иное дело, что возникли предположения и догадки иного свойства.

– Может, ты отца своего тут моешь, – сказала капитану жена Галина Сергеевна. Отец Черепанова ушёл добровольцем в сорок первом и пропал без вести.

Да, люди чувствовали себя не очень уютно, но никому в голову не пришло отказаться от работы или возмутиться, что это делается не по-людски. Да, соглашались сейчас, необычная, конечно, работа, *н е н а ш а*. Но люди мы подневольные: приказ есть приказ, да ещё три эти грозные буквы учреждения, принявшего на себя ответственность.

Работа растянулась на трое суток. Сожгли десятки тонн топлива, несколько раз при очередном обвале грунта обрывался трос, связывающий с берегом. Отходили, снова зачаливались, и опять, медленно поворачиваясь кормой впра-

во-влево, гнали винтами струю. Теплоход вошёл в берег на полный корпус – добрую полусотню метров, образовалась этакая бухта. Наверху появились буровые установки, делались грунтовые пробы на предмет новых могил. Но, кажется, всё кончилось. Кончились и дежурства у забора, не нужен вскоре стал и сам забор.

Организаторы мероприятий оценили исполнительность и профессиональные навыки речников. После ремонта – замены гребных валов и винтов, истертых грунтом, – теплоход явился в Томский порт для того, чтобы заняться своей прямой работой – перевозкой грузов. И вот тут вручили членам экипажа, так сказать, памятные подарки. Впрочем, память-то как раз и не советовали этим эпизодом загружать. СДЕЛАЛИ – И ЗАБУДЬТЕ. Теплоход сходил в Колпашево, доставил туда гравий, отсыпал в вымытую бухту – и берег укрепили, и кости упавшие засыпали.

Но когда упала вода, ниже по течению, в нескольких сотнях метров, обнаружился островок, усеянный белыми костями, – мёртвые не хотели, чтобы о них так просто забыли.

Это было ровно десять лет назад.

*«Молодой ленинец» 22 апреля 1989 года*

**P.S.** С первой страницы еженедельника улыбался Ильич с приветливой ладошкой. Тогда ещё он однозначно отделялся от своего кровавого последователя. Цензура сняла две строки в моем материале. Там, где растерянного капитана просили не волноваться, *потому что вопрос решён в самых верхних партийных кабинетах.*

Это была первая публикация в Советском Союзе о Колпашевском яре. Рассказывая о размыве, капитан Черепанов спросил меня: «Володя, а ты не боишься?». Я ответил ему, что, кажется, уже надоело бояться. Потом, спустя время, появились статьи на эту тему и в других изданиях. Ужасная история взбудоражила людей.

Но слов покаяния от Егора Кузьмича Лигачёва, бывшего в 79-м году первым лицом области, мы не услышали. Много позже он объяснил, что дело взял под контроль председатель КГБ Андропов и сказал, мол, будем заниматься этим сами.

Что мог сделать в этой ситуации Лигачёв? Такой ли беспомощной пешкой был он, как пытается представить сегодня?

Для меня почти несомненно: он мог принять участие в этой «операции» и придать ей характер перезахоронения, а не циничного повторного уничтожения, как это было сделано. Неужели он так боялся «ослушаться»? Неужели пресловутая партийная дисциплина как гробовая доска прихлопнула чисто человеческие побуждения? А может, их и не было вовсе – побуждений?

Повторю: мой материал про Колпашевский яр был *первым* в советской прессе. Даже «Литературка» не решилась, и ездившая со мной журналистка Татьяна

откровенно была этим расстроена. Ну ладно – расстроена. Один томский газетчик просто выговорил мне, что готовил нечто более основательное, а тут я ему помешал. Ей-богу, я не стремился кого-то опередить, обскакать. Но как это их травмировало! И в библиографии о Яре «забывали» про мою работу и просто игнорировали. Потом и привирать стали. Спасибо, создатель и редактор «Томского вестника» Виктор Захарович Нилов на газетной странице факт «первенства» подтвердил.

На конференции в Москве просили рассказать именно об этом – как теплоходом в 1979 году размывали берег Оби у города Колпашево, уничтожая ямы с трупами расстрелянных. Был на конференции и ещё один томич – Вильгельм Фаст. Я искренне уважал и почитал его. Помнил, как достойно он вёл себя на процессе «книжников», читателей самиздата в 1982-м. Мы договорились, что каждый расскажет то, что ему ближе. Он – историю захоронения, а я – по живым впечатлениям от встреч с речниками – историю размыва. Вильгельм Генрихович, по-моему, вообще не готовился к выступлению (а выделено было нам по десять минут). Вышел за кафедру и со своим знаменитым долгим «э – э – э» начал о репрессиях, вспомнил семью, расплакался, утирая слёзы кулаком с бороды. В общем, было красиво, трогательно. Только времени мне он не оставил. Я сбивчиво, понимая, что наши минуты исчерпаны, изложил события. Обидно, что всё это по стенограмме так же бледно предстало в альманахе «Воля».

В дни победившей гласности главный томский писатель мне настойчиво предлагал: «Да разделийся ты с этой советской сволочью! Вспомни унижения, увольнения, запрет на печатание!». Не внял я этим призывам, не стал махать кулаками после драки. Единственное: напросился на встречу со своим следователем в КГБ. Он меня любезно принял, стали беседовать, и Анатолий Петрович, устало улыбаясь, сказал: «Понимаю, Владимир Михайлович, что вы ждёте от меня покаяния. Но не будет его. Я следовал букве закона. И, согласитесь, не усердствовал излишне». Я согласился – так оно и было.

В начале 90-х я участвовал в становлении новой газеты города «Томский вестник». Была творческая атмосфера, задорные молодые журналисты. В предновогодний вечер второй раз в жизни выступил в роли Деда Мороза (первый – во время учительства в Монастырской школе). И вот в наступившем новом году вдруг почувствовал, что стало мне неинтересно работать. Период становления, утверждения прошёл, начались нормальные трудовые будни. Умножились читатели газеты, появлялись новые люди. Но мой творческий ресурс был исчерпан.

Я ушёл на обслуживание загородного дома одной богатой конторы – топить печь, убирать снег. Тогда пошли косяком стихи, составившие позднее книжку «Созерцанье облаков».

А сотрудничество с «Томским вестником» продолжилось. Писал на свободные темы до той поры, когда газета приказала долго жить.

И сейчас печатаюсь на страницах наших изданий, когда самому захочется о чём-то рассказать и когда надеюсь, что читатели это благожелательно примут.